



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

ИВАН ТУРГЕНЕВ

**Степной
король Лир**

КЛАССИКА

Digitized by Google

Иван Сергеевич Тургенев

Степной король Лир

Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.

– А я, господа, – воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой, – знавал одного короля Лира!

– Как так? – спросили мы его.

– Да так же. Хотите, я расскажу вам?

– Сделайте одолжение.

И наш приятель немедленно приступил к повествованию.

I

«Все мое детство, — начал он, — и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы ...й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных, желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный, шишковатый нос, надменно топорщились крошечные голубые глазки и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный... Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой, — и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно... Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было — некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки — те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи — с заворотками и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович — и зиму и лето — казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он протяжно и тяжело, как бык, но ходил без шума. Можно

было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околоте: народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадьё перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. „Коли десница у меня благословенная, – говаривал он, – так на то была воля божия!“ Он был горд; только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.

– Наш род от вшеда (он так выговаривал слово швед); от вшеда Харлуса ведется, – уверял он, – в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом – а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговики!

– Да, Мартын Петрович, – попытался я было возразить ему, – Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.

– Ври еще! – спокойно ответил мне Харлов, – коли я говорю, стало оно так!

Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.

– Эх, Наталья Николаевна! – промолвил он почти с досадой, – нашли за что хвалить! Нам, господам, нельзя инако; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я – Харлов, фамилию свою вон откуда веду... (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?

В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеде Харлусе, который выехал в Россию...

– При царе Горохе? – перебил сановник.

– Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.

– А я так полагаю, – продолжал сановник, – что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии...

Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.

– Может быть, – брякнул он, – наш род точно очень древний; в то время как мой пращур в Москву прибыл, рассказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.

Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня, – перебил Харлов, – не наскокивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» – спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.

II

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спускала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса – хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и прожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа – и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, – об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцей, вприпрыжку; ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына

Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другую он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заатукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.

III

Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка», – так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил – и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему – что писать, что блох ловить – все едино. Да, матушка его уважала... однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной. «Как есть леший!» – уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол – и он этим не обижался – он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом – да и ему было привольнее есть; а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифэма. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» – говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» – отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.

Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.

— Что это, мой батюшка! — восклицала она, — ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!

— Наталья Николаевна! Благодетельница! — отвечал обыкновенно Мартын Петрович. — Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может — извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.

Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.

Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает», — замечал он с укоризной. Только когда его наводили на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его расспрашивали про французов, он сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародеришки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.

IV

А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел – именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоящегося Трудлюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы, вроде следующей: «Но чё-лoвeк страстный выводит из сего пустого места, кото-рое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, ска-зывает он, не сильна сделать меня счас-тливым!» и т. д.^[1] – или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие; прейдет – и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое, время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать – и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь всё – трын-

трава! Русский был человек.

V

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника – брат его покойной жены – некто Бычков, с молодых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него не доставало всех зубов, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да щурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас». – «Да что чичас?» – с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить – другой у него заботы не было – и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» – приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в биллиардной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца, – оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и биллиардом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся...

Мартын Петрович хотел оттолкнуть его – и двинул обеими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться – ладони его брата прились в упор о край бильярда – и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский бильярд... В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!

VI

Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу, – промолвил Мартын Петрович. – Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно – и все. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! – загремел вдруг Мартын Петрович, сияясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево. – Все мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой поневе колотила вальком скрученное белье.

– Аксинья! – гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля... – Мужу портки моешь?

Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.

– Портки, батюшка, – послышался ее слабый голос.

– То-то! Вот посмотри, – продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцой вдоль полусгнившего плетня, – это моя конопля; а та вон – крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты – тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то – учись.

Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелек с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновей и с крохотным мезонином – но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись, – промолвил Харлов, – вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. «Овчары! – заметил Мартын Петрович. – Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом

балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя – и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сидение; потом он помог мне сойти с лошади.

– Анна! – воскликнул Харлов, – Натальи Николаевнин сынок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампияшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией – меньшую.)

– Дома нет; в поле за васильками пошла, – отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.

– Творог есть? – спросил Харлов.

– Есть.

– И сливки есть?

– Есть.

– Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйте сюда, сюда, – прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не «тыкал»: надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору. – Вот где я пребываю, – промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери, – а вот и мой кабинет. Милости просим!

Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами; в одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком; впрочем, в комнате было прохладно; только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.

– Что ж, хорош кабинет? – спросил меня Харлов.

– Очень хорош.

– Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит, – продолжал Харлов, снова впадая в «тыкание». – Чудесный хомут! У жида выменял. Ты погляди-ка!

– Хомут хороший.

– Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!

Я понюхал хомут. От него несло прелой ворванью – и больше ничего.

– Ну, присядьте – вон там на стульчике, будьте гости, – промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться: гора – да и полно! Он вдруг встрепенулся.

– Анна! – закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море, – что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

– Все готово, батюшка, пожалуйста, – раздался голос его дочери.

Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченный сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью», – опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной, неподвижно, с опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля.

VII

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее тысячу рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухоощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза; нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок «шпилькой». Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница – и злюка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное; даже темные родинки, рассыпанные «гречишкой» по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой – сверху вниз (я сидел, она стояла) – посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный барчонок!» – словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись – это тоже было несколько странно; но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами, – я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня, – но что за дело! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение... Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет, а в эти годы!..

Мартын Петрович опять встрепенулся.

– Анна! – крикнул он, – ты бы на фортепьянах побренчала... Молодые господа это любят.

Я оглянулся: в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.

– Слушаю, батюшка, – ответила Анна Мартыновна. – Только

что же я им буду играть? Им это не будет интересно.

– Так чему ж тебя обучали в *пинсионе*?

– Я все позабыла... да и струны полопались.

Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный... вроде того, какой бывает у хищных птиц.

– Ну, – проговорил Мартын Петрович и задумался. – Ну, – начал он опять, – так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит. – Эй, Володька! – крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моею лошадыю, – проводи вот их на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо! Так-то! Счастливо оставаться!

Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего.

Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно, – но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, притом же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу.

VIII

Я хорошо знал харловского зятя: звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем; он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип; только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил; из-за тряпки готов канючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании, и обижается, и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь мне послужишь!»

– Добрый конек у вас, – заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло, – вот бы мне такую лошадку! Да где! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили... напомнили.

– А она вам обещала?

– Кабы обещала! Нет; но я полагал, что по великому ее благодуществу...

– Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.

– К Мартыну Петровичу! – повторил протяжно Слёткин. – Для него – что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка – всё едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды.

– Неужели?

– Да, ей-богу же. Как скажет: «Мое слово свято!» – ну, вот

точно топором отрубит. Проси, не проси – все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна.

– Ах, господи боже мой, батюшка! – перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками. – Посмотрите: что это? Целый полuosьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков?! Вот тут и живи! Разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину (так назывались четыре окрестные деревни). Ах, ах, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два – убытку!

В голосе Слёткина слышались чуть не рыдания. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.

Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг, на повороте дороги, попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложения дородного; все в ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус; все в ней было даже монументально (недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь», – так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее... Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидел ее, стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый венок на ее голове.

IX

Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврило Федулыч, человек уже немолодой и – как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя – «битый да ломаный». Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя «исполнителем». «Что другое-с, а зубьё считать у мужичья – это я до тонкости понимаю, – говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами, – потому – привык, – пояснял он, – в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли; в самые сильные морозы оно было покрыто обильным покротом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели!.. и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.

– Только сладишь ли ты с ней, отец мой? – спросила она его однажды.

Житков самодовольно улыбнулся.

– Помилуйте, Наталья Николаевна! Целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же-с? Плевое дело.

– То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена, – заметила матушка с неудовольствием.

– Помилуйте-с! Наталья Николаевна! – снова воскликнул Житков. – Это мы всё очень понять можем. Одно слово: барышня,

особа нежная!

– Ну! – решила наконец матушка, – Евлампия себя в обиду не даст.

Х

Однажды – дело было в июне месяце и день склонялся к вечеру – человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось!» – воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович устал на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу... которое... такого рода, что по причине...

Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел.

Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться.

На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее.

– Сказывай, батюшка, сказывай, – воскликнула матушка, как только увидела его, – что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала: господи! – подумала я, – уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?

– Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем, – отвечал Мартын Петрович, – не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться.

– О чем?

– Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно...

– Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня! К чему тут сие? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?

Харлов нахмурился.

– Нет, не меланхолия – она у меня к новолунию бывает; а

позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?

Матушка всполохнулась.

– О чем?

– О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сем свете пощадить?

– Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился – и тебе конец будет.

– Будет! ох, будет! – подхватил Харлов и потупился. – Случилось со мною сонное мечтание... – протянул он наконец.

– Что ты говоришь? – перебила его матушка.

– Сонное мечтание, – повторил он. – Я ведь сновидец!

– Ты?

– Я! А вы не знали? – Харлов вздохнул. – Ну, вот... Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад с лишком, под самые заговорены к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок.

Харлов умолк.

– Ну? – промолвила матушка.

– И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок! Я проснулся – ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич; однако поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают.

– Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.

– Нет, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мне предостережение... К смерти моей, значит.

– Ну вот еще! – начала было матушка.

– Предостережение! Готовься, мол, человече! И потому, я, сударыня, вот что имею доложить вам, нимало не медля. Не желая, – закричал вдруг Харлов, – чтоб та самая смерть меня, раба божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем: разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне господь бог на душу пошлет. – Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: –

Нимало не медля.

– Что ж? Это дело хорошее, – заметила матушка, – только, я думаю, ты напрасно спешишь.

– И так как я желаю в сем деле, – продолжал, еще более возвысив голос, Харлов, – должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича, – вас я, сударыня, беспокоивать не осмеливаюсь, – прошу оного сыночка, Дмитрия Семеновича, родственнику же моему Бычкову в прямой долг вменяю – при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать; который акт имеет быть в действие введен послезавтра, в двенадцатом часу дня, в собственном моем имении Еськове, Козюлькине тож, при участии предержавших властей и чинов, кои уже суть приглашены.

Мартын Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь... У него словно воздуха в груди не доставало: его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот.

– И ты уже составил раздельный акт? – спросила матушка. – Когда это ты успел?

– Успел... ох! Не пимши, не емши...

– Сам писал?

– Володька... ох! помогал.

– И прошение подал?

– Подал, и палата утвердила, и уездному суду предписано, и временное отделение земского суда... ох!.. к прибытию назначено.

Матушка усмехнулась.

– Ты, я вижу, Мартын Петрович, уже совсем, как следует, распорядился, и как скоро! Знать, денег не жалел?

– Не жалел, сударыня!

– То-то! А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет; я и Сувенира с ним отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Федулыча ты не приглашал?

– Гаврила Федулыч... господин Житков... от меня такожде... извещен. Ему, как жениху, следует!

Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не

совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой; быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампиишки.

Он поднялся со стула и шаркнул ногою.

– За согласие благодарен!

– Куда же ты? – спросила матушка. – Посиди; я велю закуску подать.

– Много довольны, – отвечал Харлов. – Но не могу... Ох! нужно домой.

Он попятился и полез было, по своему обыкновению, боком в дверь.

– Постой, постой, – продолжала матушка, – неужто ты все свое имяние без остатку дочерям предоставляешь?

– Вестимо, без остатку.

– Ну, а ты сам... где будешь жить?

Харлов даже руками замахал.

– Как где? У себя в доме, как жил *доселючи*... так и впредь. Какая же может быть перемена?

– И ты в дочерях своих и в зяте так уверен?

– Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда... Какая его власть? А они меня, дочери то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать... Помилуйте! первая их обязанность! Я ж им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то – за плечами.

– В смерти господь бог волен, – заметила матушка, – а обязанность это их, точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович; старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну, да и вторая волком смотрит...

– Наталья Николаевна! – перебил Харлов, – что вы это?.. Да чтоб они... Мои дочери... Да чтоб я... Из повиновенья-то выйти? Да им и во сне... Противиться? Кому? Родителю?.. Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили – и вдруг... господи!

Харлов раскашлялся, захрипел.

– Ну, хорошо, хорошо, – поспешила успокоить его матушка, – только я все-таки не понимаю, зачем ты *теперь* делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю,

твоя меланхолия причиной.

– Э, матушка! – не без досады возразил Харлов, – зарядили вы свою меланхолию! Тут, быть может, свыше сила действует, а вы: меланхолия! Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще «жимши», при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, тот тем и владей, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость...

Голос Харлова опять перервался.

– Ну полно же, полно, отец мой, – перебила его матушка, – а то и впрямь вороной жеребенок появится.

– Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем! – простонал Харлов. – Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просим. А вас, сударик мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь!

Мартын Петрович вышел; матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головою.

– Не к добру это, – прошептала она, – не к добру. Ты заметил, – обратилась она ко мне, – он говорит, а сам будто от солнца все щурится; знай: это примета дурная. У такого человека тяжело на сердце бывает и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с Сувениром.

XI

В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным «лейб-кучером», седобородым и тучным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела Сувениру и мне одеться по-праздничному: она, видимо, желала почтить своего «протеже». Квицинский – тот всегда ходил во фраке и в белом галстуке. Во всю дорогу Сувенир трещал как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идиолом и кикиморой. Квицинский, человек угрюмый, желчный, не выдержал наконец. «И охота вам, – заговорил он со своим польским отчетливым акцентом, – такое все несообразное болтать? И неужели невозможно сидеть смирно, без этих „никому не нужных“ (любимое его слово) пустяков?» – «Ну, чичас», – пробормотал Сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло, ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй – как уже показалась харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор; крошечный форейтор, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле, локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись – послышалось легкое тпруканье, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем, дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах раскрытых рубахах – и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню – меня особенно поразили березки, натканные по обеим сторонам крыльца, словно в троицын день. «Торжество из торжеств!» – пропел в нос Сувенир, вылезая первый из кареты. И точно, торжественность замечалась во всем. На харловском зяте был

плисовый галстух с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак; а у вынырнувшего из-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидели Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося – именно возвышавшегося – посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувенир и Квицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облекся в серый, должно быть ополченский, двенадцатого года, казакин с черным стоячим воротником, бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока; левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел; и какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти! Он едва приветствовал нас кивком и, хрипло промолвив: «Прошу!» – повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обо дочери Харлова, разодетые по-воскресному: Анна в зелено-лиловом, двучичневом платье с желтым шелковым поясом; Евлампия – в розовом, с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире, с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с большим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза, и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали, как груды, на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазные сапоги – все свидетельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, жирненький, бледненький, неопрятный господинчик, с пухлыми, короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными, подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице: он слыл за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время; но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и

несколько насмешливо поглядывал кругом: видно было, что вся эта «процедура» его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нашивали при Александре Первом, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз: от очень усиленного внимания и сочувствия он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шепотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового; но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил; впрочем, он у нас в уезде носил прозвище «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле Сувенира, Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на «никому не нужную» поездку, на напрасную трату времени... «Барыня! Барские русские фантазии! – казалось, шептал он про себя... – Уж эти мне русские!»

XII

Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крикнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так:

– Милостивые государи! Я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают... Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается... Не так ли, батюшка? – обратился он к священнику.

Батюшка встрепенулся.

– Тако, тако, – прошамшил он, потрясая бородкой.

– И потому, – продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос, – не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем... – Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он два дня тому назад произнес у матушки. – В силу сего моего решения, – закричал он еще громче, – сей акт (он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам) составлен мною, и предержащие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит оная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал, будет с меня!

Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал:

– Раздельный акт имению отставного штык-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова, им самим, в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составленный, и в коем с точностию определяется, какие угодия его двум дочерям, Анне и Евлампии (кланяйтесь! – они поклонились), предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж оными дочерьми поделается! Рукою властной!

– Это ихняя бумажка, – шепнул, с неизменной своей улыбочкой, исправник Квицинскому, – они ее для красоты слога прочесть желают, а законный акт составлен по форме, безо всех этих цветочков.

Сувенир начал было хихикать...

– Согласно с моею волею! – вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника.

– Во всех пунктах согласно, – поспешно и весело отвечал тот, – только форму, вы знаете, Мартын Петрович, никак обойти нельзя. И лишние подробности устранены. Ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может.

– Подь сюда ты! – гаркнул Харлов зятю, который вслед за нами вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю.

– На, возьми, читай! А то мне трудно. Только смотри, не лотоши! Чтобы все господа присутствующие вникнуть могли.

Слёткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством, читать раздельный акт. В нем с величайшею аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне и что к Евлампии и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами: «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» – или: «Это тебе, Евлампияшка, жалую!» – и обе сестры кланялись, Анна в пояс, Евлампия одной головой. Харлов с угрюмой важностью посматривал на них. «Усадебный дом» (новый флигелек) был отдан им Евлампии, – «яко младшей дочери, по извечному обычаю». Голос чтеца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова; а Житков облизнулся. Евлампия искоса глянула на него: будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд. Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартын Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе, под именем «опричного», полное содержание «натуральной провизией» и десять рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам. «И сию мою родительскую волю, – гласила она, – дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь; ибо я после бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал; и будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское благословение, а не будут волю мою исполнять, чего боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва, ныне и во веки веков, аминь!» Харлов поднял

лист высоко над головою, Анна тотчас проворно опустилась на колени и стукнула о пол лбом; за ней кувыркнулся и муж ее. «Ну, а ты что ж?» – обратился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю; Житков нагнулся вперед всем корпусом.

– Подпишитесь! – воскликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа. – Здесь: благодарю и принимаю, Анна! Благодарю и принимаю, Евлампия!

Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слёткин встал тоже и полез было за пером, но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстух, так что он иокнул. С минуту длилось молчание. Вдруг Мартын Петрович словно всхлипнул и, пробормотав: «Ну, теперь все ваше!» – отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. В плечо достать они не могли.

XIII

Исправник прочел настоящий, формальный акт, дарственную запись, составленную Мартыном Петровичем. Потом он вместе с стряпчим вышел на крыльцо и объявил собравшимся у ворот соседям, понятым, харловским крестьянам и нескольким дворовым людям о совершившемся событии. Начался ввод во владение новых двух помещиц, которые также появились на крыльце и на которых исправник указывал рукою, когда, слегка наморщив одну бровь и мгновенно придав своему беззаботному лицу вид грозный, он внушал крестьянам о «послушании». Он бы мог обойтись и без этих внушений: более смиренных физиономий, чем у харловских крестьян, я полагаю, в природе не существует. Облеченные в худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, как это всегда водится в торжественных случаях, они стояли неподвижно, как каменные, и, как только исправник выпускал междометие вроде: «Слышите, черти! Понимаете, дьяволы!» – кланялись вдруг все разом, словно по команде; каждый из «чертей и дьяволов» крепко держал свою шапку обеими руками и не спускал взора с окна, в котором виднелась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робели и самые понятые.

– Вам известны какие-либо препятствия, – крикнул на них исправник, – ко введению во владение сих единственных и законных наследниц и дочерей Мартына Петровича Харлова?

Все понятые тотчас словно съежились.

– Известны, черти? – крикнул опять исправник.

– Ничего, ваше благородие, нам не известно, – мужественно отвечал один корявый старичок, с остриженной бородой и усами, отставной солдат.

– Ну, да и смельчак же Еремеич! – говорили, расходясь, про него понятые.

Несмотря на просьбы исправника, Харлов не пожелал выйти вместе с дочерьми на крыльцо. «Мои подданные и без того моей воле покорятся!» – отвечал он. На него, по совершении акта, нашло нечто вроде грусти. Лицо его снова побледнело. Это новое,

небывалое выражение грусти так мало шло к пространным и дебелим чертам Мартына Петровича, что я решительно не знал, что подумать! Уж не меланхолия ли на него находит? Крестьяне, очевидно, с своей стороны также ощущали недоумение. И в самом деле: «Барин живехонек – вот он стоит, да еще какой барин: Мартын Петрович! И вдруг он ими владеть не будет... Чудеса!» Не знаю, догадался ли Харлов о том, какие мысли бродили в головах его «подданных», захотел ли он в последний раз покуражиться, только он вдруг открыл форточку, приставил к отверстию голову и закричал громовым голосом: «Повиноваться!» Потом он захлопнул форточку. Недоумение крестьян, конечно, от этого не рассеялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменели и даже как бы перестали глядеть. Группа дворовых (в числе их находились две здоровенные девки, в коротких ситцах и с такими икрами, подобных которым видеть можно разве на «Страшном судилище» Микеланджело, да еще один, уже совсем ветхий, от древности даже заиндевевший, полуслепой человек в шершавой фризовой шинели – он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком» – казачка Максимку Харлов себе предоставил), группа эта выказывала большее оживление, чем крестьяне; она по крайней мере переминалась на месте. Сами новые помещицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснув свои сухие губы, она упорно глядела вниз... Не много доброго обещала дворовым ее строгая фигура. Евлампия тоже не поднимала глаз; только раз она обернулась и, словно с удивлением, медленно окинула взором своего жениха Житкова, который, вслед за Слёткиным, почел нужным также явиться на крыльцо. «Ты здесь с какого права?» – казалось, говорили эти красивые выпуклые глаза. Слёткин – тот изменился больше всех. Во всем существе его проявилась торопливая бодрость, словно аппетит его пронимал; движения головы, ног остались подобострастными по-прежнему, но как весело расправлял он руки, как хлопотливо передвигал лопатками! «Наконец, мол, дорвался!» Окончив «процедуру» ввода во владение, исправник, у которого от приближения закуски даже вода подтекла под щеками, потер себе руки тем особенным манером, который обыкновенно предшествует «вонзанию в себя первой рюмочки»; но оказалось, что Мартын Петрович желал

сперва отслужить молебен с водосвятием. Священник облачился в старую, еле живую ризу; еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался. Харлов то и дело вздыхал; класть земные поклоны он по тучности не мог, но, крестясь правой рукою и наклоня голову, указывал перстом левой руки на пол. Слёткин так и сиял и даже прослезился; Житков благородно по-военному чуть-чуть помахивал пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира; Квицинский, как католик, остался в соседней комнате; зато стряпчий так усердно молился, так сочувственно вздыхал вслед за Мартыном Петровичем и так истово шептал и жевал губами, возводя взоры горе, что, глядя на него, я ощутил умиление и начал тоже горячо молиться. По окончании молебна и водосвятия, причем все присутствующие, даже слепой потемкинский «валторщик», даже Квицинский, помочили себе глаза святой водой, Анна и Евлампия еще раз, по приказанию Мартына Петровича, благодарили его земно; и тут наконец наступил момент завтрака! Кушаний было много, и все превкусные; мы все наелись страшно. Появилась неизбежная бутылка донского. Исправник, как человек, больше всех нас знакомый со светскими обычаями, ну, да и как представитель власти, первый провозгласил тост за здоровье «прекрасных владелиц!». Потом он же предложил нам выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича! При слове: «великодушнейший», Слёткин взвизгнул и бросился целовать своего благодетеля... «Ну, хорошо, хорошо, не надо», — бормотал Харлов как бы с досадой, отстраняя его локтем... Но тут произошел не совсем приятный, как говорится, пассаж.

XIV

А именно: Сувенир, который с самого начала завтрака пил безостановочно, внезапно поднялся, весь красный, как бурак, со стула и, указывая пальцем на Мартына Петровича, залился своим дряблым, дрянным смехом.

– Великодушный! Великодушный! – затрещал он, – а вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его, раба божия, голой спиной... да на снег!

– Что ты врешь? Дурак! – презрительно промолвил Харлов.

– Дурак! дурак! – повторил Сувенир. – Единому всевышнему богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу, уморили – за то теперь и самих себя похерили... ха-ха-ха!

– Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать? – запищал Слёткин и, оторвавшись от обхваченного им плеча Мартына Петровича, ринулся на Сувенира. – Да знаете ли, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самый акт сию минуту уничтожить можем?..

– А вы все-таки его голой спиной – на снег... – ввернул Сувенир, стушевавшись за Квицинского.

– Молчать! – загремел Харлов. – Прихлопну тебя, так только мокро будет на том месте, где ты находился. Да и ты молчи, щенок! – обратился он к Слёткину, – не суйся, куда не велят! Коли я, Мартын Петров Харлов, порешил оный раздельный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти такой нет...

– Мартын Петрович! – заговорил вдруг сочным басом стряпчий; он тоже выпил много, но от этого в нем только важности прибавилось. – Ну, а как господин помещик правду сказать изволил? Дело вы совершили великое, ну, а как, сохрани бог, действительно... вместо должной благодарности, да выйдет какой афронт?

Я глянул украдкой на обеих дочерей Мартына Петровича. Анна так и впилась глазами в говорившего и уж, конечно, более злого,

змеиною и в самой злобе более красивого лица я не видывал! Евлампия отворотилась и руки скрестила; презрительная усмешка более чем когда-нибудь скрутила ее полные розовые губы.

Харлов поднялся со стула, разинул рот, но, видно, язык изменил ему... Он вдруг ударил кулаком по столу, так что все в комнате подпрыгнуло и задребезжало.

– Батюшка, – поспешно промолвила Анна, – они нас не знают и потому так о нас понимают; а вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться изволите; вот у вас личико словно перекошилось.

Харлов поглядел на Евлампию; она не шевелилась, хотя сидевший подле нее Житков и толкал ее под бок.

– Спасибо тебе, дочь моя Анна, – глухо заговорил Харлов, – ты у меня разумница; я на тебя надеюсь и на мужа твоего тоже. – Слёткин опять взвизгнул; Житков выставил было грудь и ногой слегка топнул; но Харлов не заметил его старания. – Этот шалопай, – продолжал он, указав подбородком на Сувенира, – рад дразнить меня; но вам, милостивый государь мой, – обратился он к стряпчему, – вам о Мартыне Харлове судить не приходится, понятием еще не вышли. И чиновный вы человек, а слова ваши самые вздорные. А впрочем, дело сделано, решению моему отмены не будет... Ну, и счастливо оставаться! Я уйду. Я здесь больше не хозяин, я гость. Анна, хлопочи ты, как знаешь; а я к себе в кабинет уйду. Довольно!

Мартын Петрович повернулся к нам спиною и, не прибавив больше ни слова, медленно вышел из комнаты.

Внезапное удаление хозяина не могло не расстроить нашей компании, тем более что и обе хозяйки тоже вскорости исчезли. Слёткин напрасно старался удержать нас. Исправник не преминул упрекнуть стряпчего в неуместной его откровенности.

– Нельзя! – отвечал тот. – Совесть заговорила!

– Вот и видно, что масон, – шепнул мне Сувенир.

– Совесть! – возразил исправник. – Знаем мы вашу совесть! Так же небось и у вас в кармане сидит, как и у нас, грешных!

Священник между тем, уже стоя на ногах, но предчувствуя скорый конец трапезы, беспрестанно посылал в рот кусок за куском.

– А у вас, я вижу, аппетит сильный, – резко заметил ему Слёткин.

– Про запас, – отвечал священник со смиренной ужимкой; застарелый голод слышался в этом ответе.

Застучали экипажи... и мы разъехались.

На возвратном пути никто не мешал Сувениру кривляться и болтать, так как Квицинский объявил, что ему надоели все эти «никому не нужные» безобразия, и прежде нас отправился домой пешком. На его место к нам в карету сел Житков; отставной майор имел весьма недовольный вид и то и дело, как таракан, поводил усами.

– Что, ваше высокоблагородие, – лепетал Сувенир, – субординация, знать, подорвана? Погодите, то ли будет! Зададут феферу и вам! Ах вы, женишок, женишок, горе-женишок!

Сувенира так и разбирало; а бедный Житков только шевелил усами.

Вернувшись домой, я рассказал все виденное мною матушке. Она выслушала меня до конца и несколько раз покачала головою.

– Не к добру, – промолвила она, – не нравятся мне все эти новизны!

XV

На следующий день Мартын Петрович приехал к обеду. Матушка поздравила его с благополучным окончанием затеянного им дела.

– Ты теперь свободный человек, – сказала она, – и должен себя легче чувствовать.

– Легче-то легче, сударыня, – отвечал Мартын Петрович, нисколько, однако, не показывая выраженьем своего лица, что ему действительно легче стало. – Можно теперь и о душе помыслить, и к смертному часу как следует приготовиться.

– А что? – спросила матушка, – мурашки у тебя по руке все бегают?

Харлов раза два сжал и разжал ладонь левой руки.

– Бегают, сударыня; и что я вам еще доложу: как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «Берегись! берегись!»

– Это... нервы, – заметила матушка и заговорила о вчерашнем дне, намекнула на некоторые обстоятельства, сопровождавшие совершение раздельного акта...

– Ну да, да, – перебил ее Харлов, – было там кое-что... неважное. Только вот что доложу вам, – прибавил он с расстановкой. – Не смутили меня вчерась пустые Сувенировы слова; даже сам господин стряпчий, хоть и обстоятельный он человек, – и тот не смутил меня; а смутила меня... – Тут Харлов запнулся.

– Кто? – спросила матушка.

Харлов вскинул на нее глазами.

– Евлампия!

– Евлампия? Дочь твоя? Это каким образом?

– Помилуйте, сударыня, – точно каменная! истукан истуканом! Неужто же она не чувствует? Сестра ее, Анна, – ну, та все как следует. Та – тонкая! А Евлампия – ведь я ей – что греха таить! – много предпочтения оказывал! Неужто же ей не жаль меня? Стало быть, мне плохо приходится, стало быть, чую я, что не жилец я на сей земле, коли все им отказываю; и точно каменная! хоть бы гукнула! Кланяться – кланяется, а благодарности не видеть.

– Вот постой, – заметила матушка, – выдадим мы ее за Гаврилу Федулыча... у него она помягчает.

Мартын Петрович опять исподлобья глянул на матушку.

– Ну разве вот Гаврила Федулыч! Вы, знать, сударыня, на него надеетесь?

– Надеюсь.

– Так-с; ну, вам лучше знать. А у Евлампии, доложу вам, – что у меня, что у ней: нрав все едино. Казацкая кровь – а сердце, как уголь горячий!

– Да разве у тебя такое сердце, отец мой?

Харлов не отвечал. Наступило небольшое молчание.

– Что же ты, Мартын Петрович, – начала матушка, – каким образом намерен теперь душу свою спасать? К Митрофанию съездишь или в Киев? или, может быть, в Оптину пустынь отправишься, так как она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит.

– Если она точно неблагодарной дочерью окажется, – промолвил хриплым голосом Харлов, – так мне, кажется, легче будет ее из собственных рук убить!

– Что ты! Что ты! Господь с тобою! Опомнись! – воскликнула матушка. – Какие ты это речи говоришь? Вот то-то вот и есть! Послушался бы меня наемни, как советоваться приезжал! А теперь вот ты себя мучить будешь – вместо того, чтобы о душе помышлять! Мучить ты себя будешь – а локтя все-таки не укусишь! Да! Теперь вот ты жалуешься, трусишь...

Этот упрек, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя его гордыня так волной и прилила к нему. Он встряхнулся и подбородком двинул вперед.

– Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить, – угрюмо заговорил он. – Я вам только как благодетельнице моей и уважаемой особе чувства мои изложить пожелал. Но господь бог ведает (тут он поднял руку над головою), что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от своего слова отступить, или... (тут он даже фыркнул) или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал! Значит, были причины! А дочери мои из повиновения не выдут, во веки веков,

аминь!

Матушка зажала уши.

– Что это, отец, как труба трубишь! Коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, господи! Голову ты мне совсем размозжил!

Мартын Петрович извинился, вздохнул раза два и умолк. Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыни, об отце Макарии... Харлов поддакивал, говорил, что «нужно, нужно... надо будет... о душе...» и только. До самого отъезда он не развеселился; от времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара, и что он зарок себе дал: не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает... Притом же он теперь от всего отстранился; с какой стати он сердиться будет? Пусть другие теперь трудятся и кровь себе портят!

Прощаясь с матушкой, он странным образом поглядывал на нее: задумчиво и вопросительно... и вдруг, быстрым движением выхватив из кармана том «Покоящегося трудолюбца», сунул его матушке в руки.

– Что такое? – спросила она.

– Прочтите... вот тут, – торопливо промолвил он, – где уголок загнут, о смерти. Сдается мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли вы мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете.

С этими словами Мартын Петрович вышел.

– Неладно! эх, неладно! – заметила матушка, как только он скрылся за дверью, и принялась за «Трудолюбца».

На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова:

«Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, как то, что дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо пронизательнее тех стихий, коим отдан был под власть, но и самой электрической силы, то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равно духовного себе места...» и т. д.^[2]

Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула: «Тьфу», – и бросила книгу в сторону.

Дня три спустя она получила известие, что муж ее сестры

скончался, и, взяв меня с собою, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провести у ней месяц, но осталась до поздней осени – и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню.

XVI

Первое известие, которым встретил меня мой камердинер Прокофий (он же считался господским егерем), было то, что вальдшнепов налетело видимо-невидимо и что особенно в березовой роще возле Еськова (харловского имения) они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три; я тотчас схватил ружье, ягдташ и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Есковскую рощу. Вальдшнепов в ней мы нашли действительно много – и, выпустивши около тридцати зарядов, убили штук пять. Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Лошадь его остановилась, и он, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергал веревочной вожжою ее набок загнутую голову. Я взгляделся в несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу и облитые потом бока судорожно и неровно вздымались, как кузнечные меха, – и тотчас признал в ней старую чухлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу.

– Господин Харлов жив? – спросил я Прокофия. Охота нас обоих так «всецело» поглотила, что мы до того мгновенья ни о чем другом не разговаривали.

– Жив-с. А что-с?

– Да ведь это его лошадь? Разве он продал ее?

– Лошадь точно ихняя-с; только продавать они ее не продавали; а взяли ее у них – да тому мужичку и отдали.

– Как так взяли? И он согласился?

– Согласия ихнего не спрашивали-с. Тут без вас порядки пошли, – промолвил с легкой усмешкой Прокофий в ответ на мой удивленный взгляд, – беда! Боже ты мой! Теперь у них Слёткин господин всем орудует.

– А Мартын Петрович?

– А Мартын Петрович самым как есть последним человеком стал. На сухояденье сидит – чего больше? Порешили его совсем. Того и смотри, со двора сгонят.

Мысль, что можно такого великана *сознать*, никак не

укладывалась мне в голову.

– А Житков-то чего смотрит? – спросил я наконец. – Ведь он женился на второй дочери?

– Женился? – повторил Прокофий и на этот раз усмехнулся во весь рот. – Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол; поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело: Слёткин всем заправляет.

– А невеста-то что?

– Евлампия-то Мартыновна? Эх, барин, сказал бы я вам... да млады вы суть – вот что. Дела тут подошли такие, что и... и... и! Э! да Дианка-то, кажись, стоит!

Действительно, собака моя остановилась как вкопанная перед широким дубовым кустом, которым заканчивался узкий овраг, выползавший на дорогу. Мы с Прокофием подбежали к собаке: из куста поднялся вальдшнеп. Мы оба выстрелили по нем и промахнулись; вальдшнеп переместился; мы отправились за ним.

Суп уже был на столе, когда я вернулся. Матушка побранила меня. «Что это? – сказала она с неудовольствием, – в первый же день – да к обеду ждать себя заставил». Я поднес ей убитых вальдшнепов: она и не посмотрела на них. Кроме ее, в комнате находились Сувенир, Квицинский и Житков. Отставной майор забился в угол, – ни дать ни взять провинившийся школьник; выражение его лица являло смесь смущения и досады; глаза его покраснели... Можно было даже подумать, что он незадолго перед тем всплакнул. Матушка продолжала быть не в духе; мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала; майор изредка возводил на нее жалостные взгляды, кушал, однако, исправно; Сувенир трепетал; Квицинский сохранял обычную уверенность осанки.

– Викентий Осипыч, – обратилась к нему матушка, – прошу вас послать завтра за Мартыном Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало; и велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть.

Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался.

– И Слёткину дайте знать, – продолжала матушка, – что я ему приказываю ко мне явиться... Слышите? При... ка... зываю!

– Вот уже именно... этого негодяя следует... – начал вполголоса

Житков; но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк.

– Слышите? Я приказываю! – повторила матушка.

– Слушаю-с, – покорно, но с достоинством промолвил Квицинский.

– Не приедет Мартын Петрович! – шепнул мне Сувенир, выходя вместе со мною после обеда из столовой. – Вы посмотрите, что с ним случилось! Уму непостижимо! Я полагаю, он, что и говорят-то ему – ничего не понимает. Да! Прижали ужа вилами!

И Сувенир залился своим дряблым смехом.

XVII

Предсказание Сувенира оказалось справедливым. Мартын Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо; он прислал ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова: «Ей-же-ей, не могу. Стыд убьет. Пуцай так пропадаю. Спасибо. Не мучьте. Харлов Мартынка». Слёткин приехал, но не в тот день, когда матушка «приказывала» ему явиться, а целыми сутками позже. Матушка велела провести его к себе в кабинет... Бог ведает, о чем у них велась беседа, но продолжалась она недолго: с четверть часа, не более. Слёткин вышел от матушки весь красный и с таким ядовито-злым и дерзостным выражением лица, что, встретившись с ним в гостиной, я просто остолбенел, а тут же вертевшийся Сувенир не окончил начатого смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во всеуслышание, чтоб господина Слёткина ни под каким видом к ней вперед не допускать; а коли Мартына Петровича дочери вздумают явиться – наглости, дескать, на это у них станет, – им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула: «Каков дрянной жиденок! Я ж его за уши из грязи вытащила, я ж его в люди вывела, он всем, всем мне обязан – и он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь! Что Мартын Петрович блажит – и что ему потакать невозможно! Потакать! какво? Ах, он неблагодарный па́щенок! Жиденок мерзкий!» Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам бог ему велел воспользоваться случаем и вернуть свое слово... но матушка тотчас его осадила. «Ну уж и ты хорош, мой отец! – промолвила она. – С девкой не умел сладить, а еще офицер! Ротой командовал! Воображаю, как она тебя слушалась! В управляющие метил! Хорош бы вышел управляющий!»

Квицинский, сидевший на конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку.

После обеда он вышел на крыльцо покурить, по обыкновению, трубочку – и таким он мне показался жалким и сиротливым, что я, хотя его и недолюбливал, однако тут присоседился к нему.

– Как это у вас, Гаврила Федулыч, – начал я без дальних околичностей, – с Евлампией Мартыновной дело расстроилось? Я полагал – вы давно женились.

Отставной майор уныло взглянул на меня.

– Змей подколодный, – начал он, с горестной старательностью выговаривая каждую букву каждого слога, – жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни – в прах обратил! И рассказал бы я вам, Дмитрий Семенович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогневить! («Млады вы еще суть», – мелькнуло у меня в голове выражение Прокофия.) Уж и так...

Житков крикнул.

– Терпеть... терпеть... больше ничего не остается! (Он ударил себя кулаком в грудь.) Терпи, старый служака, терпи! Царю служил верой-правдой... беспорочно... да! Не щадил пота-крови, а теперь вот до чего довертелся! Будь то в полку – и дело от меня зависящее, – продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук, – я б его... я б его фухтелями в три перемены... то есть до отвалу...

Житков вынул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренне любуясь вызванной им картиной.

Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошел от них в сторону – и решил, во что бы то ни стало собственными глазами увидеть Мартына Петровича... Детское мое любопытство было сильно задето.

XVIII

На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Еськовскую рощу. День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней и не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву – падал навсегда: он уж не шелохнется, пока не истлеет. Воздух ни теплый, ни свежий, а только пахучий и словно кисленький, чуть-чуть, приятно щипал глаза и щеки; тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху – знак постоянной, теплой погоды! Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращал на них особенного внимания; я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в самую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало ли мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев.

Живые человеческие звуки почудились мне в недалеком расстоянии. Я стал прислушиваться... Кто-то шел по лесу... прямо на меня.

– Так бы ты и сказал, – послышался женский голос.

– Толкуй! – перебил другой голос, голос мужчины. – Нешто можно все разом?

Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредевшие ореховые кусты; рядом с ним показался темный кафтан. Еще мгновение – и на поляну, в пяти шагах от меня, вышли Слёткин и Евлампия.

Они внезапно смутились. Евлампия тотчас отступила назад в кусты. Слёткин подумал – и приблизился ко мне. На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он, месяца четыре тому назад, расхаживая по двору харловского

дома, перетирал трензель моей лошади; но и того дерзкого вызова я на нем прочесть не мог, того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне, на пороге матушкина кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солидней и шире.

– Что, много вальдшнепов заполевали? – спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своим черным кудрям. – Вы в нашей роще охотитесь... Милости просим! Мы не препятствуем... Напротив!

– Сегодня я ничего не убил, – промолвил я, отвечая на первый его вопрос, – а из рощи вашей я сейчас выйду.

Слёткин торопливо надел шапку.

– Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним – и даже очень рады... Вот и Евлампия Мартыновна то же скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйста сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампии показалась из-за кустов; но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время – и словно еще выросла и раздобрела.

– Мне, признаться сказать, – продолжал Слёткин, – даже очень приятно, что «встрелся» с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчера на меня прогневаться изволила – никаких от меня резонов принять не хотела, а я как перед богом, так и перед вами доложу: ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно: совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует! Спросите хоть Евлампию Мартыновну.

Евлампия не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ее губам – и неласково глядели красивые глаза.

– Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика.)

– Лошадь-то ихнюю зачем продали-с? Да помилосердуйте – куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу – коли вздумается куда выехать – стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием!

– Владимир Васильевич! – глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и все не сходя с своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку.

– Вот еще насчет казачка Максимки, – продолжал Слёткин, – Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить: ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то как следует он не может – по причине своей глупости и молодых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший – и себе пользу принесет, и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с! В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует!

«И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой!» – подумал я. – Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает? – спросил я.

– Да что читать-то? Была одна книга – да, благо, запропастилась куда-то... И что за чтение в его лета!

– А бреет его кто? – опять спросил я.

Слёткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку.

– Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал, – а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно!

– Владимир Васильевич! – с настойчивостью повторила Евлампия, – а Владимир Васильевич!

Слёткин сделал ей знак рукою.

– Обут, одет Мартын Петрович, кушает то же, что и мы; чего ж ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в сем мире не желает, как только о душе своей заботиться. Хоть бы он то сообразил, что теперь все как-никак – а наше. Говорит тоже, что жалованье мы ему не выдаем; да у нас самих деньги не всегда бывают; и на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся; истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет, уж как нам нужны! без них просто повернуться негде; а мы – ничего! – терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечение доставить. Вот я к Петрову дню а-атличные крючки в городе ему купил – настоящие

английские: дорогие крючки! чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил! часик, другой посидел – ан ущица и готова. Самое для старичков степенное занятие!

– Владимир Васильевич! – в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах. – Я уйду! – Ее глаза встретились с моими. – Я уйду, Владимир Васильевич! – повторила она и скрылась за куст.

– Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас! – крикнул Слёткин. – Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет, – продолжал он, снова обращаясь ко мне. – Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник: человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой – беда! ну, а ныне совсем тих стал. Потому – пользу свою увидел. Маменька ваша – и боже ты мой! – как опрокинулась на меня... Известно: барыня властью своею дорожит тоже, не хуже, как, бывало, Мартын Петрович; ну, а вы зайдите сами, посмотрите – да при случае и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благоденья очень чувствую; однако надо же жить и нам.

– А Житкову как же отказано было? – спросил я.

– Федулычу-то? Талагаю-то этому? – Слёткин плечами пожал. – Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился – а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить. Потому – я привык по роже бить. Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Все наше хозяйство с ним бы пропало!

– Ау! – раздался звучный голос Евлампии.

– Сейчас! сейчас! – отозвался Слёткин. Он протянул мне руку; я хоть и неохотно, а пожал ее.

– Прощения просим, Дмитрий Семенович, – проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы. – Стреляйте себе вальдшнепов на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчик вам попадется – вы уж его пощадите: это добыча – наша. Да вот еще! Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили!

– Ау! – раздался снова голос Евлампии.

– Ау! ау! – отозвался Слёткин и бросился в кусты.

XIX

Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль: как это Харлов не прихлопнул Слёткина так, «чтобы только мокро было на том месте, где он находился», – и как это Слёткин не страшился подобной участи? Видно, Мартын Петрович точно «тих» стал, подумалось мне – и еще сильнее захотелось пробраться в Еськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих, с сильным треском крыл, выскочил крупный вальдшнеп и помчался в глубь рощи. Я прицелился; ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно: птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова? Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов двести, увидел на небольшой лужайке, под развесистой березой, не вальдшнепа – а того же господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх, на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке, в нескольких шагах от него, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия; казалось, она искала чего-то в траве – грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку и напевала вполголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет, но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни:

Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.
Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и сам убью!

Евлампия пела все громче и громче; особенно сильно протянула она последние слова. Слёткин все лежал на спине, да посмеивался, а она все как будто кружила около него.

– Вишь ты! – промолвил он наконец. – И чего им только в голову не взбредет!

– А что? – спросила Евлампия.

Слёткин слегка приподнял голову.

– Что? Какие ты это речи произносишь?

– Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь, – отвечала Евлампия, обернулась и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули, и оба бросились в разные стороны.

Я поспешно выбрался из рощи – и, перейдя узенькую полянку, очутился перед харловским садом.

XX

Мне некогда да и не к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово «присуха», которое я недавно перед тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня и чрез несколько мгновений из-за серебристых тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели) увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой; всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартиновна появилась на крыльце и, прищулив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи.

– Барина видел? – спросила она проходившего по двору мужика.

– Владимир Васильича? – отвечал тот, схватив с головы шапку. – Он никак в рощу пошел.

– Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?

– Не видал... нетути.

Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартиновной.

– Ну, ступай, – проговорила она. – Или нет... постой... Мартын Петрович где? Знаешь?

– А Мартын эвто Петрович, – отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то, – сидит тамotka у пруда, с удою. В камыше сидит и с удою. Рыбу, что ль, ловит, бог его знает.

– Хорошо... Ступай, – повторила Анна Мартиновна, – да подбери колесо, вишь, валяется.

Мужик побежал исполнять ее приказание, а она постояла еще несколько минут на крыльце и все смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозила одной рукой и медленно вернулась в дом.

– Аксютка! – раздался ее повелительный голос за дверь.

Анна Мартиновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одетая она была

небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ее одежды, ни на ее раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которою она раза два с досадой откинула ту развитую прядь.

XXI

«Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» — спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда, сюда... Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда — и наконец в самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную, сероватую глыбу... Я присмотрелся: это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле; так неподвижно сидел он, что куличок-песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая, над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидела его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах, наподобие смушек. В правой его руке лежал конец удилица, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно иокнуло; однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно спросонья.

— Что это вы, Мартын Петрович, — начал я, — рыбу здесь ловите?

— Да... рыбу, — отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилице, на конце которого болтался обрывок нитки в аршин и без крючка.

— У вас леса порвана, — заметил я и тут же увидел, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей... И какая могла быть ловля в сентябре?!

— Порвана? — промолвил он и провел рукой по лицу. — Но это все едино!

Он снова закинул свою удочку.

— Натальи Николаевны сынок? — спросил он меня спустя

минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он, хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином; но в какое он был одет рубище и как опустился весь!

– Точно так, – отвечал я, – я сын Натальи Николаевны Б.

– Здравствуете?

– Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом, – прибавил я, – она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать.

Мартын Петрович понурился.

– А был ты... там? – спросил он, качнув в сторону головою.

– Где?

– Там... на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю.

Он помолчал.

– Тебе бы все с ружьем баловаться! В младых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня... а я его уважал; во как! не то что нынешние. Отхлестал отец меня арапником – и шабаш! Полно баловаться! Потому я его уважал... У!.. Да...

Харлов опять помолчал.

– А ты здесь не оставайся, – начал он снова. – Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька... – Тут он на миг запнулся. – Володька у меня на все руки. Молодец! Ну, да и бестия же!

Я не знал, что сказать; Мартын Петрович говорил очень спокойно.

– И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки... ловкие. А я стар становлюсь, брат; отстранился. На покой, знаешь...

«Хорош покой!» – подумал я, взглянув кругом. – Мартын Петрович! – промолвил я вслух. – Вам непременно надо к нам приехать.

Харлов глянул на меня.

– Ступай, брат, прочь; вот что.

– Не огорчайте маменьку, приезжайте.

– Ступай, брат, ступай, – твердил Харлов. – Что тебе со мной разговаривать?

– Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.

– Ступай!

– Да, право же, Мартын Петрович!

Харлов опять понурился – и мне показалось, что его потемневшие, как бы землей перекрытые щеки слегка покраснели.

– Право, приезжайте, – продолжал я. – Что вам тут сидеть-то? Себя мучить?

– Как так мучить, – промолвил он с расстановкой.

– Да так же – мучить! – повторил я.

Харлов замолчал и словно в думу погрузился.

Ободренный этим молчаньем, я решился быть откровенным, действовать прямо, начистоту. (Не забудьте – мне было всего пятнадцать лет.)

– Мартын Петрович! – начал я, усаживаясь возле него. – Я ведь все знаю, решительно все! Я знаю, как ваш зять с вами поступает – конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении... Но зачем же унывать?

Харлов все молчал и только удочку уронил, а я-то – каким умницей, каким философом я себя чувствовал!

– Конечно, – заговорил я снова, – вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны – и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта! Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение... именно презрение... и не тосковать...

– Оставь! – прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно... – Уйди!

– Но, Мартын Петрович...

– Уйди, говорят... а то убью!

Я было совсем пододвинулся к нему; но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги.

– Что вы такое сказали, Мартын Петрович?

– Убью, говорят тебе: уйди! – Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой. – Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду, – вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос! – «Он с ума сошел!» – мелькнуло у меня в голове.

Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно: Мартын Петрович плакал!! Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам... а лицо приняло выражение совсем свирепое...

– Уйди! – закричал он еще раз, – а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!

Он дрыгнул всем телом как-то вбок и оскалился, точно кабан; я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною! И она тоже испугалась.

Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но, встретившись с Сувениром, я – черт знает почему – рассказал ему все. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его.

– Эх! посмотрел бы я, – твердил он, задыхаясь от смеха, – как этот идол, «вшед» Харлус, залез в тину, да и сидит в ней...

– Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно.

– Да; а как убьет?

Очень мне надоел Сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости... Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе.

– Придется к полиции обратиться, – решил он, – а пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать.

Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось, – но произошло действительно нечто необыкновенное.

XXII

В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты, во втором этаже нашего дома – и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; об охоте невозможно было и помышлять. Все живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет – и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали: уж, кажется, что было с них взять, а ветер нет-нет – да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь пробегала по телу – и уж как становилось дурно на душе! Именно дурно – не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая – и ветер будет вечно пищать и ныть! Вот стоял я так-то в раздумье у окна – и помню я: темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего двенадцать. Вдруг мне почудилось, что через наш двор – от ворот к крыльцу промчался медведь! Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведя я увидел, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое... Не успел я еще сообразить, что б это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня...

Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую...

В дверях гостиной, лицом ко мне, стояла как вкопанная моя

матушка; за ней виднелось несколько испуганных женских лиц; дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами – тискались у двери в переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое – мокрое до того, что пар поднимался кругом и вода струйками бежала по полу, стояло на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор! И кто же был это чудовище? Харлов! Я зашел сбоку и увидел – не лицо его – а голову, которую он обхватил ладонями по слеplенным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно; что-то даже клокотало в его груди – и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен! Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно: такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшееся от другого, сильнеешего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот.

– Мартын Петрович! – воскликнула наконец матушка и руками всплеснула. – Ты ли это? Господи, боже милостивый!

– Я... я... – послышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук, – ох! Я!

– Но что это с тобою, господи?!

– Наталья Николаев... на... я к вам... прямо из дому бе... жал пешком...

– По этакой грязи! Да ты на человека не похож. Встань, сядь по крайней мере... А вы, – обратилась она к горничным, – поскорей сбегайте за полотенцами. Да нет ли какого сухого платья? – спросила она дворецкого.

Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост?..

– А впрочем, одеяло можно принести, – доложил он, – не то попона есть новая.

– Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь, – повторяла матушка.

– Выгнали меня, сударыня, – простонал вдруг Харлов, – и голову назад закинул и руки протянул вперед. – Выгнали, Наталья Николаевна! Родные дочери из моего же родного пепелища...

Матушка ахнула.

– Что ты говоришь! Выгнали! Экой грех! экой грех! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость!

Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступить к этакой уйме грязи.

– Выгнали, сударыня, выгнали, – твердил между тем Харлов. Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка Сувенира высунулась из-за двери и исчезла.

– Мартын Петрович, встань! Сядь! и расскажи мне все по порядку, – решительным тоном скомандовала матушка.

Харлов приподнялся... Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку замарал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать: обсушить Харлова, очевидно, не было возможности; только следы его на полу наскоро подтерли.

XXIII

– Как же это тебя выгнали? – спросила матушка Харлова, как только он немного «отдышался».

– Сударыня! Наталья Николаевна! – начал он напряженным голосом – и опять поразила меня беспокойная беготня его белков, – буду правду говорить: больше всех виноват я сам.

– То-то вот; не хотел ты меня тогда послушаться, – промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком: очень уже разило от Харлова... в лесном болоте не так сильно пахнет.

– Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходоносора. Думал я: не обидел меня господь бог умом-разумом; коли я что решил – стало, так и следует... А тут страх смерти подошел... Вовсе я сбился! Покажу, мол, я напоследках силу да власть свою! Награжу – а они должны по гроб чувствовать... (Харлов вдруг весь всколыхался...) Как пса паршивого выгнали из дому вон! Вот их какова благодарность!

– Но каким же образом, – опять начала было матушка...

– Казачка Максимку от меня взяли, – перебил ее Харлов (глаза его продолжали бегать, обе руки он держал у подбородка – пальцы в пальцы), – экипаж отняли, месячину урезали, жалованья выговоренного не платили – кругом, как есть, окорнали – я все молчал, все терпел! И терпел я по причине... ох! опять-таки гордости моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вот, мол, старый дурак, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, мол, своего не укусишь! Вот я и терпел... Только сегодня прихожу я к себе в комнату, а уж она занята – и постельку мою в чулан выкинули! Можешь-де и там спать; тебя и так за милость терпят; нам-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит – кто же? Володька Слёткин, смерд, паскуд...

Голос Харлова оборвался.

– Но дочери-то твои? Они-то что же? – спросила матушка.

– А я все терпел, – продолжал Харлов свое повествование, – горько, горько мне было во как и стыдно... Не глядел бы на свет

божий! Оттого я и к вам, матушка, поехать не захотел – от этого от самого от стыда, от страму! Ведь я, матушка моя, все перепробовал: и лаской, и угрозой, и усовещивал-то их, и что уж! кланялся... вот так-то (Харлов показал, как он кланялся). И все понапрасну! И все-то я терпел! Сначала-то, на первых-то порах, не такие у меня мысли были: возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось... Будут знать! Ну, а потом – покорился! Крест, думаю, мне послан; к смерти, значит, приготовиться надо. И вдруг сегодня, как пса! И кто же? Володька! А что вы о дочерях спрашивать изволили, то разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!

Матушка удивилась.

– Про Анну я еще это понять могу; она – жена... Но с какой стати вторая-то твоя...

– Евлампия-то? Хуже Анны! Вся, как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Анне – видимое дело – следовало бы обидеться, да она и терпеть сестры не может, а покоряется! Околдовал, проклятый! Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало!.. О... ох, ох! Боже мой, боже!

Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону, из предосторожности, как бы меня не выслали...

– Очень сожалею, Мартын Петрович, – начала она, – что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался; но ведь и я в нем ошиблась... Кто мог это ожидать от него!

– Сударыня, – простонал Харлов и ударил себя в грудь. – Не могу я снести неблагодарность моих дочерей! Не могу, сударыня! Ведь я им все, все отдал! И к тому же совесть меня замучила. Много... ох! много передумал я, у пруда сидючи да рыбу удучи! «Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал! – размышлял я так-то, – бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед богом за них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» И какая теперь их судьба: была яма глубокая и при мне – что греха таить, а теперь и дна не видать! Эти

все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! Из дому меня пинком, как пса!

– Полно об этом думать, Мартын Петрович, – заметила матушка.

– И как он мне сказал, ваш-то Володька, – с новой силой подхватил Харлов, – как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал – как сказал он мне это – и бог знает, что со мной приключилось! В головушке помутилось, по сердцу как ножом... Ну, либо его зарезать, либо из дому вон!.. Вот я и побежал к вам, благотельница моя, Наталья Николаевна... И куды ж мне было голову приклонить? А тут дождь, слякоть... Я, может, раз двадцать упал! И теперь... в этаким безобразии...

Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался.

– Полно тебе, полно, Мартын Петрович, – поспешно проговорила матушка, – какая в том беда? Что ты пол-то замарал? Эка важность! А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай! Отведут тебя теперь в особую комнату, постель дадут чистую – ты разденься, умойся, да приляг и усни...

– Матушка, Наталья Николаевна! Не уснуть мне! – уныло промолвил Харлов. – В мозгах-то словно молотами стучат! Ведь меня, как тварь непотребную...

– Ляг, усни, – настойчиво повторила матушка. – А потом мы тебя чаем напоим – ну, и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный! Если тебя из *твоего* дома выгнали, в *моем* доме ты всегда найдешь себе приют... Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас.

– Благотельница! – простонал Харлов и закрыл лицо руками. – Спасите *вы* меня теперь!

Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез.

– Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем только могу; но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь.

Харлов принял руки от лица.

– Коли нужно, – промолвил он, – я ведь и простить могу!

Матушка одобрительно кивнула головой.

– Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартын Петрович; но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок – а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина, – обратилась матушка к дворецкому, – и что он только потребует, чтобы сию минуту было! Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье, какое понадобится, спроси у кастелянши – слышишь?

– Слушаю, – отвечал дворецкий.

– А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному; да бороду надо будет сбрить. Не сейчас, а после.

– Слушаю, – повторил дворецкий. – Мартын Петрович, пожалуйста. – Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился, отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты.

XXIV

Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за кастаньетшей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся, с кривляньем и хохотом, вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь с него.

– Вшед! Вшед Харлус! – пищал Сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока. – Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть? Можешь его признать? Ха-ха-ха! Ваше сиятельство, пожалуйста ручку! Отчего это на вас черные перчатки?

Я хотел было удержать, пристыдить Сувенира... но не тут-то было!

– Приживальщиком меня величал, дармоедом! «Нет, мол, у тебя своего крова!» А теперь небось таким же приживальщиком стал, как и аз грешный! Что Мартын Харлов, что Сувенир проходимец – теперь всё едино! Подачками тоже кормиться будет. Возьмут корку хлеба завалиющую, что собака нюхала, да прочь пошла... На, мол, кушай! Ха-ха-ха!

Харлов все стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки.

– Мартын Харлов, столбовой дворянин! – продолжал пищать Сувенир. – Важность-то какую на себя напустил, фу ты ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как именье свое от большого ума стал отдавать да делить – куды раскудахтался! «Благодарность! – кричит, – благодарность!» А меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы восчувствовал! И, значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной...

– Сувенир! – закричал я; но Сувенир не унимался. Харлов все не трогался; казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени все на нем было мокро, и ждал, когда это с него все снимут. Но дворецкий не возвращался.

– А еще воин! – начал опять Сувенир. – В двенадцатом году отечество спасал, храбрость свою показывал! То-то вот и есть: с мерзлых мародеров портки стащить – это наше дело; а как девка на нас ногой притопнет, у нас у самих душа в портки...

– Сувенир! – закричал я вторично.

Харлов искоса посмотрел на Сувенира; он до того мгновенья словно и присутствия его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание.

– Смотри, брат, – проворчал он глухо, – не допрыгайся до беды!

Сувенир так и покатился со смеху.

– Ох, как вы меня испугали, братец почтеннейший! уж как вы страшны, право! Хоть бы волосики себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут, не отмоешь их потом; придется скосить косою. – Сувенир вдруг расхохотался. – Еще куражиться! Гольш, а куражится! Где ваш кров теперь, вы лучше мне скажите, вы все им хвастались? У меня, дескать, кров есть, а ты бескровный! Наследственный, дескать, мой кров! (Далось же Сувениру это слово!)

– Господин Бычков, – промолвил я. – Что вы делаете! опомнитесь!

Но он продолжал трещать и все прыгал да шмыгал около самого Харлова... А дворецкий с кастеляншей все не шли!

Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течение разговора с моей матушкой постепенно стихал и даже под конец, по-видимому, помирился с своей участью, снова стал раздражаться: он задышал скорее, под ушами у него вдруг словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица...

– Сувенир! Сувенир! – воскликнул я. – Перестаньте, я маменьке скажу.

Но Сувениром словно бес овладел.

– Да, да, почтеннейший! – затрещал он опять, – вот мы с вами теперь в каких subtilных обстоятельствах обретаемся! А дочки ваши, с зятьком вашим, Владимиром Васильевичем, под вашим кровом над вами потешаются вдоволь! И хоть бы вы их, по обещанию, проклинали! И на это вас не хватило! Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли! Какой он для вас Володька? Он – Владимир Васильевич,

господин Слёткин, помещик, барин, а ты – кто такой?

Неистовый рев заглушил речь Сувенира... Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинело, пена показалась на истресканных губах, он задрожал от ярости.

– Кров! – говоришь ты! – загремел он своим железным голосом, – проклятие! – говоришь ты... Нет! я их не проклянута... Им это нипочем! А кров... кров я их разорю, и не будет у них крова так же, как у меня! Узнают они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнают, как надо мной издеваться!.. Не будет у них крова!

Я обомлел; я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался предо мною! Я обомлел... а Сувенир, тот от страха под стол забился.

– Не будет! – закричал Харлов в последний раз и, чуть не сбив с ног входивших кастеляншу и дворецкого, бросился вон из дому... Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами.

XXV

Матушка страшно рассердилась, когда дворецкий пришел с смущенным видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утаить причину этой отлучки; я принужден был подтвердить его слова.

– Так это все ты! – закричала матушка на Сувенира, который забежал было зайцем вперед и даже к ручке подошел, – твой пакостный язык всему виною!

– Помилуйте, я чичас, чичас... – залепетал, заикаясь и закидывая локти за спину, Сувенир.

– Чичас... чичас... Знаю я твое чичас! – повторила матушка с укоризной и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ: немедленно отправиться с экипажем в Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привезти его. – Без него не являйтесь! – заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел.

Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и, помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал; я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенес насмешек и шпилек такого ничтожного существа, каков был Сувенир. Я не знал еще тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустом упреке, даже когда он исходит из презренных уст... Ненавистное имя Слёткина, произнесенное Сувениром, упало искрою в порох; наболевшее место не выдержало этого последнего укола.

Прошло около часа. Коляска наша въехала на двор; но в ней сидел наш управляющий один. А матушка ему сказала: «Без него не являйтесь!» Квицинский торопливо выскочил из экипажа и взбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошел в гостиную.

– Ну? привезли его? – спросила матушка.

– Не привез, – отвечал Квицинский, – и не мог привезти.

- Это почему? Вы его видели?
- Видел.
- С ним что случилось? Удар?
- Никак нет; ничего не случилось.
- Почему же вы не привезли его?
- А он дом свой разоряет.
- Как?

– Стоит на крыше нового флигеля – и разоряет ее. Тесин, полагать надо, с сорок или больше уже слетело; решетин тоже штук пять. («Крова у них не будет!» – вспомнились мне слова Харлова.)

Матушка уставилась на Квицинского.

- Один... на крыше стоит и крышу разоряет?

– Точно так-с. Ходит по настилке чердака и направо да налево ломает. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловеческая! Ну и крыша, надо правду сказать, лядащая; выведена вразбежку, шалёвками забрана, гвозди – однотес^[3].

Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не ослышалась ли она как-нибудь.

– Шалёвками вразбежку, – повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов...

- Ну, так что ж вы? – проговорила она наконец.

– Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрятались.

- А дочери-то его – что же?

- И дочери – ничего. Бегают, зря... Голосят... Что толку?

- И Слёткин там?

- Там тоже. Пуще всех вопит, но поделать ничего не может.

- И Мартын Петрович на крыше стоит?

- На крыше... то есть на чердаке – и крышу разоряет.

- Да, да, – проговорила матушка, – шалёвками...

Казус, очевидно, предстоял необыкновенный.

Что было предпринять? Послать в город за исправником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась.

Приехавший к обеду Житков тоже потерялся. Правда, он упомянул опять о воинской команде, а впрочем, никакого совета не преподал и только глядел подчиненно и преданно. Квицинский,

видя, что никаких инструкций ему не добиться, доложил – со свойственной ему презрительной почтительностью – моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается...

– Да, да, – перебила его матушка, – попытайтесь, любезный Викентий Осипыч! Только поскорее, пожалуйста, а я все беру на свою ответственность!

Квицинский холодно улыбнулся.

– Одно наперед позвольте объяснить вам, сударыня: за результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая и отчаянность тоже; очень уж он оскорбленным себя почитает!

– Да, да, – подхватила матушка, – и всему виною этот гадкий Сувенир! Никогда я этого ему не прощу! Ступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипыч!

– Вы, господин управляющий, веревок побольше захватите да пожарных крючьев, – промолвил басом Житков, – и коли сеть имеется, то и ее тоже взять недурно. У нас вот так-то однажды в полку...

– Не извольте учить меня, милостивый государь, – перебил с досадой Квицинский, – я и без вас знаю, что нужно.

Житков обиделся и объявил, что так как он полагал, что и его позовут...

– Нет, нет! – вмешалась матушка. – Ты уж лучше оставайся... Пускай Викентий Осипыч один действует... Ступайте, Викентий Осипыч!

Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел.

Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Еськову.

XXVI

Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой – прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла; я слез и принялся зубами натягивать ремни... Вдруг слышу: кто-то зовет меня по имени... Сувенир бежал ко мне по зеленым.

– Что, батенька, – кричал он мне еще издали, – любопытство одолело? Да и нельзя... Вот и я туда же, напрямик, по харловскому следу... Ведь этакой штуки умрешь – не увидишь!

– На дело рук своих хотите полюбоваться, – промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп; но неугомонный Сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот наконец и Еськово – вот и плотина, а там длинный плетень и раkitник усадьбы... Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении.

От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов; дрань и тесины лежали беспорядочными грудками с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, лядащая; но все же дело было невероятное! По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже-проворно двигалась исчерна-серая масса и то раскачивала оставшуюся, из кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась), то отдирала тесину и бросала ее книзу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут: и голова, и спина, и плечи – медвежьи, и ставил он ноги широко, не разгибая ступни – тоже по-медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склоченные волосы; страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья; страшно было слышать его дикое, хриплое бормотание. На дворе былолюдно; бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора; несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и

безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиною к стене, неподвижно смотрела на отца; Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом; Слёткин – весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидал; задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо, – целился опять, кричал, плакал... Увидав меня с Сувениром, он так и ринулся к нам.

– Посмотрите, посмотрите, что тут происходит! – завизжал он, – посмотрите! Он с ума сошел, взбеленился... и вот что делает! Я уж за полицией послал – да никто не едет! Никто не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность! А я выстрелю!.. Ей-богу, выстрелю!

Он подскочил к дому.

– Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете, – я выстрелю!

– Стреляй! – раздался с крыши хриплый голос. – Стреляй! А вот тебе пока гостинец!

Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась наземь у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал.

– Господи Иисусе! – пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувенир. «А! – подумал я, – перестал теперь смеяться!»

Слёткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот.

– Да полезай, полезай же, полезайте, черти, – вопил он, тряся его изо всей силы, – спасайте мое имущество!

Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал:

– Эй, вы! господин! – потолокся на месте и верть назад.

– Лестницу! лестницу несите! – обратился Слёткин к прочим крестьянам.

– А где ее взять? – послышалось ему в ответ.

– И хоть бы лестница была, – промолвил не спеша один голос, – кому ж охота лезть? Нашли дураков! Он те шею свернет –

мигом!

– С’час убить, – проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом.

– А то нешто нет? – подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их.

– Ах вы, разбойники! – застонал Слёткин, – вот я вас всех...

Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился.

Евлампия одернула его за локоть.

– Не мешай! – свирепо вскинулся он на нее.

– А ты – не смей! – промолвила она, – и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей. – Отец свой дом разоряет. Его добро.

– Врешь: наше!

– Ты говоришь: наше; а я говорю: его.

Слёткин зашипел от злобы; Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами.

– А, здорово! здорово, дочка любезная! – загремел сверху Харлов. – Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь-можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?

– Отец! – послышался звучный голос Евлампии.

– Что, дочка? – отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка, – светлая, веселая, – и именно потому особенно страшная, недобрая усмешка... Много лет спустя я видел такую же точно усмешку на лице одного к смерти приговоренного.

– Перестань, отец; сойди (Евлампия не говорила ему «батюшка»). Мы виноваты; все тебе возвратим. Сойди.

– А ты что за нас распоряжаешься? – вмешался Слёткин. Евлампия только пуце брови нахмурила.

– Я свою часть тебе возвращу – все отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас; прости меня.

Харлов все продолжал усмехаться.

– Поздно, голубушка, – заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь. – Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилося – теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я – пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь, какой красавчик выискался! Да на свою эхиденную сестру посмотри; вон ее лисий нос из окошка выставляется, вон она муженька-то подуськивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить – так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю – как есть одними руками! Видите, и топора не взял!

Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила.

– Полно, отец, – говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков, – не поминай прошлого. Ну, поверь же мне; ты всегда мне верил. Ну, сойди; приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрею; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, были виноваты! ну, зазнались, согрешили; ну, прости!

Харлов покачал головою.

– Расписывай! Поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то! Все убили! Был я орлом – и червяком для вас сделался... а вы – и червяка давить? Полно! Я тебя любил, сама знаешь, – а только теперь ты мне не дочь и я тебе не отец... Я пропащий человек! Не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь! – гаркнул вдруг Харлов на Слёткина. – Что все только целишься? Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, – заговорил Харлов с расстановкой, – то датель властен все назад потребовать? Ха-ха, не бойся, законник! Я не потребую – я сам все покончу... Валяй!

– Отец! – в последний раз взмолилась Евлампия.

– Молчи!

– Мартын Петрович! братец, простите великодушно! – пролепетал Сувенир.

– Отец, голубчик!

– Молчи, сука! – крикнул Харлов. На Сувенира он и не посмотрел – и только сплунул в его сторону.

XXVII

В это мгновение Квицинский со всей своей свитой – на трех телегах – появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь.

– Эге! – закричал во все горло Харлов. – Армия... вот она, армия! Целую армию против меня выставляют. Хорошо же! Только предвараю, кто ко мне сюда на крышу пожалует – и того я вверх тормашками вниз спущу! Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю! Так-то!

Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые «ноги» фронтона, и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому: «Еще разик! еще раз! ух!»

Слёткин подбежал к Квицинскому и начал было жаловаться и хныкать... Тот попросил его «не мешать» и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал, в виде диверсии, объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело...

– Еще разик, еще раз! – напевал Харлов.

...Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала...

– Еще разик, еще раз! ух! – напевал Харлов. А между тем Квицинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова, однако, не ускользнул план атаки; он вдруг бросил стропила и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе, к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов потряс им вслед кулаком и, вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропила и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки.

Он вдруг остановился, воззрелся...

– Максимушка, друг! приятель! – воскликнул он, – тебя ли я

вижу?

Я оглянулся... От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка и, ухмыляясь и скаля зубы, вышел вперед. Его хозяин, шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку.

– Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный, – продолжал Харлов, – станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских!

Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу... Но его схватили и оттащили – бог знает почему – разве для примера другим; помощи большой он Мартыну Петровичу не оказал бы.

– Ну, хорошо же! Добро же! – промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила.

– Викентий Осипович! позвольте я выстрелю, – обратился Слёткин к Квицинскому, – я ведь больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинником. – Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскаченная железными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на двор – и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули... Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном.

XXVIII

К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Дух отшибло», – пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлову голову; грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили ее у самого флигеля и, с трудом приподнявши громадное тело Мартына Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. Евлампия, бледная как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Слёткиным не подходили близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова, точно он захлебывался... Потом он слабо повел одной – правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один – правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул – произнес картавя:

– Рас... шибся... – и, как бы подумав немного, прибавил: – Вот он, воро... ной жере... бенок! – Кровь вдруг густо хлынула у него из рта – все тело затрепетало...

«Конец!» – подумал я... Но Харлов открыл еще все тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца) и, вперив его на Евлампию, произнес едва слышно: – Ну, доч... ка... Тебя я не про... – Квицинский резким движением руки подозвал попа, который все еще стоял на крыльце флигеля... Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже; по лицу, снизу вверх, прошла неровная судорога – точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии. Максимка начал креститься... Мне стало жутко, я побежал к воротам и, не оглядываясь, принял к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня – и я понял, что Мартына Петровича не стало.

Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии.

XXIX

«Что он хотел сказать ей умирая?» – спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клеппере: «Я тебя не про... клинаю? или не про... щаю?» Дождик опять полил, но я ехал шагом. Мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозбранно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одной из телег, прибывших с Квицинским. Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная, общая (не в одних частностях) перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным или ожидаемым (все равно!) появлением смерти, ее торжественность, важность и правдивость – не могли не поразить меня. Я и был поражен... но со всем тем мой смущенный детский взор заметил тотчас многое: он заметил, как Слёткин, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них... На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата, – это все-таки чувствовалось всеми. «Обидели старика, – промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородою на длинную палку, – на вашей душе грех! Обидели!» Это слово «обидели!» тотчас было принято всеми, как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слёткин не смел распоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом; не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартыновна не решилась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, «чтоб теплая вода была – обмыть покойника». Ее приказание походило на просьбу – и отвечали ей грубо...

Меня же все занимал вопрос: что он, собственно, хотел сказать

своей дочери? Простить ли он ее хотел или проклясть? Я решил наконец, что – простить.

Дня через три происходили похороны Мартына Петровича на счет матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь, – потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того жиденка; но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уже не величала, как бабой! Сувенира она на глаза к себе не пускала и долго потом еще гневалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна: он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате, соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал: «Чичас!»

В церкви и во время процессии Слёткин показался мне снова попавшим «в свою тарелку». Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось собственно его кармана. Максимка, в новом, тоже моей матушкой пожалованном казакине, выводил на клиросе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог! Обе сестры были, как следует, в траурных платьях – но казались более смущенными, чем огорченными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид, впрочем, не силилась плакать и все только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия все задумывалась. То общее, бесповоротное отчуждение, осуждение, какое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движениях, в их взглядах, – но еще степеннее и как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, – тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного Судии и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.

– И хоть бы испивал, братец ты мой, – говорил на паперти один

мужик другому.

– И не пимши да захмелеешь, – отвечал тот. – Каков случай выдет.

– Обидели, – повторил первый мужик решающее слово.

– Обидели, – промолвили за ним другие.

– А ведь покойный сам вас притеснял? – спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина.

– Барин был, известно, – отвечал мужик, – а все-таки... обидели его!

– Обидели... – опять слышалось в толпе.

У могилы Евлампия стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, она обращалась, как, бывало, с Житковым, и еще хуже.

Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку все доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей...

– Откупилась, видно, Анна-то! – заметила моя матушка, – только у нас с тобою, – прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет – он заменил ей Сувенира, – руки неумелые!

Житков уныло глянул на свои мощные длани... «Они-то, неумелые!» – казалось, думалось ему...

Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву – и много минуло лет, прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича.

XXX

Но я увидал их. С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив, после кончины матушки, нашу деревню, в которую я не заезжал больше пятнадцати лет, я получил от посредника приглашение (тогда по всей России, с незабытой доселе медленностью, происходило размежевание чересполосицы) – приглашение прибыть для совещания, с прочими владельцами нашей дачи, в имение помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на сем свете матушкина «жиденка» с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило; но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно: ее имение, и усадьба, и самый дом (я невольно взглянул на крышу, она была железная) – все оказалось в превосходном порядке, все было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно – выкрашено, хоть бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела; но та особенная, сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас не радушно – это слово к ней не шло, – но вежливо и, увидав меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала.

Были у ней две дочери, обе прехорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах; был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда! Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто вернее ее не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права; все «подходящие» законы, даже министерские циркуляры были ей хорошо известны; говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие и

таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали; все кряхтели и покачивали головами.

– Экая баба умница! – говорил один.

– Продувная шельма! – вмешался другой, менее деликатный владелец, – мягко стелет, да жестко спать!

– Да и скряга же! – прибавил третий, – рюмка водки и кусочек икры на брата – это что же такое?

– Чего от нее ждать? – брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик, – кому же не известно, что она мужа своего отравила?

К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, наверное, ни на чем не основанное обвинение! Это тем более меня удивило, что, несмотря на приведенные мною бранчивые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая неделикатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал.

– Возведи ее на трон, – воскликнул он, – та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновение крестьян – образцовое... Воспитание детей – образцовое! Голова! Мозги!

Семирамиду и Екатерину в сторону, – но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье... это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете – и хорошее и дурное – дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще не известных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их.

XXXI

Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне и узнал, что она, как ушла из дому, так и пропала без вести – и, «вероятно, теперь уже давно воспарила в горния».

Так выразился наш посредник... но я убежден, что я *видел* Евлампью, что я встретился с нею. Именно вот как.

Года четыре после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средней руки. Охота около Мурина была в то время недурна – и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ, некто Викулов, из мещан – очень неглупый и добрый малый, но, как он сам про себя выражался, совершенно «потерянного» поведения. Где только не был этот человек и чем он не был! Ничего-то его удивить не могло, все-то он знал – но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать одинокий дом, стоявший у перекрестка двух дорог и обнесенный высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал мое любопытство: в нем было что-то таинственное, замкнутое, угрюмо-немое, что-то напоминавшее острог или больницу. С дороги только и можно было видеть что его крутую, темной краской выкрашенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота; и те казались наглухо запертыми; никакого звука не слышалось никогда за ними. Со всем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает: он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, все в нем было так прочно, и плотно, и дюже, что хоть осаду выдерживай!

– Что за крепость такая? – спросил я у своего товарища. – Не знаете?

Викулов лукаво прищурился.

– Чудное небошь строение? Много с него здешнему исправнику дохода!

– Как так?

– Да так же. О хлыстах-раскольниках – вот что без попов

живут, – небось слышали?

– Слышал.

– Ну вот тут их главная матка обретается.

– Женщина?

– Да, матка; богородица по-ихнему.

– Что вы?!

– Я ж вам говорю. Строгая, говорят, такая... Командирша! Тысячами ворочает! Взял бы я да всех этих богородиц... Да что толковать!

Он позвал своего Пегашку, удивительную собаку, с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтоб она не так неистово бегала.

Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг – о чудо! – засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились – показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой – и не спеша выкатила на дорогу небольшая тележка вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки, ближе ко мне, сидел мужчина лет тридцати, замечательно красивой и благообразной наружности, в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе; он степенно правил откормленным, как печь широким конем; а рядом с мужчиной, по ту сторону тележки, сидела женщина высокого роста, прямая как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль; одета она была в короткий бархатный шушун оливкового цвета и темно-синюю мериносовую юбку; белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево – и женщина очутилась в двух шагах от меня; она слегка повела головою, и я узнал Евлампия Харлову. Я узнал ее немедленно, я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться; таких глаз, как у ней – и особенно такого склада губ, надменного и чувственного, – я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кой-где виднелись морщины; но особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до

чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти – пресыщением власти дышала каждая черта; в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками – а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! Я громко назвал ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня – не с испугом, а с презрительным гневом: кто, мол, смеет меня беспокоить? – и, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина востропнулся, с размаха ударил вожжей по лошади, та двинулась вперед шибкой и крупной рысью – и телега скрылась.

С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в хлыстовские богородицы – я и представить себе не могу; но кто знает, быть может, она основала толк, который назовется – или уже теперь называется, по ее имени – евлампиевщиной? Все бывает, все случается.

И вот что я имел сказать вам о моем степном короле Лире, о семействе его и поступках его».

Рассказчик умолк – а мы потолковали немного, да и разошлись восвояси.

1870

Примечания

1

«Покоящийся Трудолюбец», периодическое издание и т. д., Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху.

2

См. «Покоящийся Трудолюбец», 1785, III ч. Москва.

3

Крыша выводится «вразбивку» или «вразбежку», когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной; такая крыша дешевле, но менее прочна. Шалёвкой называется самая тонкая доска в $\frac{1}{2}$ вершка, обыкновенная тесина – в $\frac{3}{4}$ вершка.

Иван Сергеевич Тургенев / Степной король Лир

* * *

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

Примечания